РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ В ЛАТВИИ

Новая книга русского писателя Латвии Марины Костенецкой автобиографическая. Основу ее составляет переписка родителей – письма из Риги в Воркуту и из Воркуты в Ригу. Маринин отец был арестован за месяц до ее рождения, в июле 1945 года, и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в ГУЛАГе. Мать же с ребенком жили в Риге. Впервые отец и дочь увидели друг друга, когда Марине было уже 10 лет. В книге «Письма из дома» М. Костенецкая описывает подлинную историю своей семьи, используя для этого как родительские письма, так и официальные исторические документы, бережно хранящиеся в семейном архиве. С разрешения автора, мы публикуем фрагменты из новой книги М. Костенецкой.

Марина Костенецкая

Письма из дома

Мудрец вопрошал Соломона, мудрейшего из людей: «Скажи, царь, о чем я должен всегда помнить?» — «Когда ты достиг богатства и славы, не будь высокомерен, все это когда-то пройдет... Когда ты в беде, не забывай — и это пройдет!»

Одно из первых воспоминаний детства — после болезни тифом меня привезли из больницы, и я учусь дома заново ходить. Мне три года. Я иду вдоль стены, опираясь ладошками то на стену в желтых обоях, то на попадающуюся на пути мебель: шкаф, кровать, стул, дохожу до распахнутой в коридор двери и предусмотрительно опускаюсь на четвереньки, чтобы в безопасности миновать дверной проем. Цель путешествия — вторая комната, откуда меня позвал двоюродный брат. Саша на пять лет старше. Кто-то угостил его сказочным лакомством, и он зовет меня в свою комнату разделить пир:

 Иди сюда, Мариночка, я дам тебе сахара!

Для того, чтобы получить сахар, надо выйти в коридор, подняться на ноги и, опираясь о стенку, добраться до двери в Сашину комнату. Я уже благополучно миновала дверной проем в нашей с мамой комнате, придерживаясь за косяк, выпрямилась во весь рост, чтобы продолжить путь, и тут меня настигает безжалостный вердикт брата:

— Ну, не хочешь, так и не надо! Я сам съем! Он ждал, что за сахаром я прибегу вприпрыжку, он не видит, что я очень-очень спешу, но быстрее у меня просто не получается, потому что бегать так, как бегала до болезни, еще нет сил... Саша, конечно, обиделся на меня, он съест сахар раньше, чем я сумею что-нибудь объяс-

нить. Сознание непоправимости беды так потрясает, что я опускаюсь возле косяка на пол и молча заливаюсь горькими слезами. Я плачу без крика, никто не догадывается о моем горе, никто не бросается утешать, и этот момент чудовищной несправедливости запечатлевается в мозгу на всю жизнь. Через шестьдесят с лишним лет, читая мамино письмо к отцу в ГУЛАГ, я опять отчетливо вижу себя той трехлетней доходягой, сидящей в бордовых фланелевых шароварах в дверном проеме, о которой врачи маме тогда сказали: «Ваша девочка — выходец с того света».

* * *

Мамино письмо датировано 27 октября 1948 года. Это третий год переписки родителей, и только из этого письма отец, отбывающий в Воркуте лагерный срок, узнает, как мы с мамой в 1945 году возвращались из разбомбленной Германии в Ригу. Я же впервые прочту письмо на шестьдесят пятом году своей жизни.

Теперь из переписки родителей я знаю, что последний раз мама с отцом виделась 4 августа 1945 года в лагере для советских граждан, подлежащих отправке на родину, куда арестованного за две недели до этого отца в день вынесения приговора привел его земляк-конвоир, чтобы осужденный смог попрощаться с женой. Мама была на восьмом месяце беременности. Сейчас мне уже достоверно известно и то, что родители были вывезены в 1944 году отступавшими из Риги немцами и после окончания войны оказались в Германии в зоне Красной армии. В том же городке двумя трамвайными остановками дальше начиналась зона, контролировавшаяся войсками союзников — конкретно амери-

канцев. В советской зоне всех обитателей лагеря для перемещенных лиц после прихода Красной Армии перевели в фильтрационный лагерь. В пустом бараке осталась только моя мама. Почему не взяли ее — не знаю. Возможно, косвенной причиной послужила я, поскольку день моего прихода в мир неотвратимо приближался, и передвигаться без посторонней помощи маме трудно было уже не только из-за голода. Отца, как и тысячи других советских граждан, оказавшихся не по своей воле на момент окончания



Мать Марины Костенецкой, Екатерина Анисимова, в 30-е годы в Риге

войны в Германии, Военный трибунал приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в лагерях. После смерти Сталина дело было пересмотрено, статья обвинения снята, как не имеющая под собой основания для приговора, причина нахождения отца в Германии переквалифицирована на другую статью, согласно которой, мера наказания снижена до 10 лет — срок, который он к моменту пересмотра дела реально отсидел. В присланном на имя отца официальном документе, датированном 25 октября 1956 года, черным по белому написано:

«На Ваше заявление от 19 октября 1956 года сообщаю, что дело в отношении Вас пересмотрено Военным трибуналом Ленинградского военного округа 20 января 1956 года. Приговор

Военного трибунала тыла советских оккупационных войск в Германии от 4 августа 1945 года изменен: исключена из приговора ст.2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943г. и действия Ваши переквалифицированы на ст.58—3 УК РСФСР. Мера наказания снижена до 10 лет лишения свободы.

На основании ст. ст. 1 и 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. об амнистии Вы считаетесь не имеющим судимости и поражения в правах.

Полный текст определения о пересмотре Вашего дела Военный трибунал выслать не может, поскольку определение имеет гриф «Секретно».

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВТ Лен. ВО Полковник юстиции /Ананьев/»

Остается добавить, что в 1955 году под Указ об амнистии не попадали реальные пособники фашистов (власовцы, полицаи, каратели, охранники и т.д., и т.п.), так что позднейшие выдумки моих политических оппонентов о, якобы, преступном сотрудничестве отца с нацистами не имеют под собой никаких оснований. Впрочем, верить или не верить этим небылицам - личное дело каждого. Ни убеждать, ни тем более переубеждать здесь и сейчас я никого не собираюсь. Цель у меня гораздо скромнее: оставить после себя автобиографию, базирующуюся на реальных фактах и документах. Ибо за двадцать лет о себе и о своей семье я начиталась столько чудовищной лжи в средствах массовой информации, что считаю нужным помочь будущим историкам во всем этом разобраться объективно. Только и всего.

Впервые мы с отцом увидели друг друга, когда мне было 10 лет, умер он в мои 16, но клеймо дочь врага народа еще раз было поставлено на меня уже через 28 лет после его смерти. В 1989 году, за три дня до выборов Народных депутатов СССР, когда я была выдвинута кандидатом в депутаты от Народного фронта Латвии, две ведущие русские газеты «Советская молодежь» и «Советская Латвия» одновременно, а именно 23 марта, напечатали разоблачительные статьи о моем происхождении — мол, отец кандидата в депутаты был пособником фашистов, а, как гласит народная мудрость, яблочко от яблоньки...

За двадцать с лишним лет после начала перестройки в СССР, давшей толчок освободительному движению в странах Балтии, написано немало книг. Первый лидер Народного фронта Дайнис Иванс свою версию происходившего тогда в Латвии изложил в книге «Воин понево-

ле» (русское издание — 1996 год, Рига). Так вот там на странице 219 читаем: «Народным фронтом в КГБ занималось пять или шесть человек 5-го отдела. Более серьезные операции готовил так называемый Особый отдел (...) Они занимались дискредитацией виднейших лидеров Народного фронта. Одним из первых и наиболее завершенных таких мероприятий была кампания по очернению Марины Костенецкой. Кто из свидетелей учреждения Народного фронта не помнит эту славную писательницу, которая хотела и умела защитить латышей и делала это, сокрушая официальные мифы Москвы о маленькой фашистской республике. Марина подписала второй, опубликованный манифест $H\Phi \Lambda$. Λ юди доверяли ей. Π потому ее следовало охаять и перед русскими, и перед латышами. И не только охаять. Как многие честные и чувствительные люди, она была легкоранима. Востроглазые кэгэбэшники это сообразили. Но самое удивительное и одновременно — печальное, что мы, сам народ, так часто и легковерно глотаем наживку, подброшенную нам Особым отделом, выбивая таким образом почву у себя из-под ног и морально уничтожая честных и талантливых людей, которые могли бы еще многое сделать для Λ атвии. Таких случаев было немало. Так что Марина была не первой и не последней, кого мы пусть и не вполне, но все-таки отвергли из-за вылитых Большим домом помоев».

К помоям я привыкла и со временем научилась публично не реагировать на клевету и оскорбления. Но надо сказать, что в тот раз домашняя заготовка КГБ по моей компрометации все же не сработала — на выборах я с большим отрывом победила кандидата от Интерфронта и благополучно стала не только Народным депутатом, но и членом Верховного Совета СССР. Кому и зачем понадобилось настраивать против меня и русских, и латышей, я поняла много позднее.

Впрочем, если говорить о травле, то тут в моей судьбе просматривается прямо-таки мистический след. Относительно законности происхождения Марины Костенецкой советские люди, оказывается, были информированы еще до ее рождения. Узнала я об этом случайно, разбирая семейный архив. Документы свидетельствуют, что мои родители сочетались законным браком перед алтарем Рижского Кафедрального Христорождественского собора 10 июня 1944 года, родилась я 25 августа 1945 года, а вот в мамином письме к отцу от 27 октября 1948 года только теперь прочла:

«Дорогой Гриша!

На прошлой неделе послала тебе письмо, в котором писала — как мы обе с Мариночкой попали в больницу. Болели тифом. Если ты это письмо получил, то тебя, вероятно, удивило оно очень. Но все так должно было быть. Под личиной этого заболевания тифом пришло большое благословение. Я отдохнула за все три года — и физически, и морально, и духовно, и умственно. Когда вначале появилась сильнейшая головная боль, я боялась сойти с ума. И только мысль, что я сама это еще взвешиваю, что сумасшествия поэтому еще нет, утешала меня. Ведь все время после рождения Мариночки я мечтала хотя бы о самом непродолжительном отпуске (...).

Я тебе никогда не писала, как я ехала домой до ее рождения. Очень, очень было тяжело! Я попала в вагон тогда, когда он был уже настолько переполнен, что места даже в проходах не было. Перешагивая через людей, сидевших в проходе, я старалась все же пробираться вперед в надежде получить место. Вдруг в конце вагона увидела в проходе между скамейками маленькое свободное место. Обрадовавшись, я пробралась к нему, надеясь хотя бы немного спокойно постоять. Тут сидела такая циничная женщина, стала издеваться надо мною, смеялась, говорила, что ребенок незаконнорожденный, что если я надеюсь на то, что мне удастся здесь хотя бы чуточку посидеть, то чтобы я не мечтала об этом. И так я добралась до самого конца, где еще у уборной было маленькое местечко. Там сидеть было невозможно, а ехать надо было еще 6 часов, и стоять было невыносимо. Я взяла какой-то тюк, села на него, но сидеть было тоже невозможно почти непрерывно входили и уходили люди. Это было сплошное мученье, так как ко всему этому не только не было воздуха, но приходилось буквально задыхаться. Через 5 дней после приезда родилась Мариночка...»

Из другого маминого письма, датированного 20 января 1949 года, сейчас я знаю подробности о последнем свидании родителей в Германии, когда украинец конвоир согласился привести своего земляка к жене попрощаться перед отправкой на этап:

«...Когда мы виделись в последний раз с тобою, тогда, помнишь, я совершенно неожиданно для себя попала в среду женщин с сомнительной репутацией в смысле нравственности. По крайней мере, большинство из них были такие. Но я тебе скажу, что ко мне они хорошо относились, и мне легко видеть было в них друзей, так как они стремились к свету. Оговариваюсь, конечно, не абсолютно все, но были и такие, которых мне удалось уговорить оставить скользкий

путь. Одна в особенности — так привязалась ко мне: чутко прислушивалась к моим словам и свою искреннюю благодарность за них каждый день старалась выразить в том либо другом сюрпризе — как то: яблоко, картофель, морковь и другим. Мне было самой трудно уже ходить, и она старалась все добыть для меня. Другая говорила мне: «Вы такая интеллигентная!» и с большим вниманием слушала, как я рассказывала ей о детях. Эта делилась, ну, буквально всеми крохами лакомств, какие выпадали ей на долю. Потому, когда ты застал меня там в последний раз, я тебе и сказала, что мне неплохо там. Меня никто не осуждал за ребенка там, не искали во мне пороков, недостатков, чего-либо, за что можно было бы критиковать, осуждать и т.д.»

Эти строки я пишу в марте 2010 года. Из моего сегодняшнего дня низкий поклон тем русским женщинам с сомнительной репутацией в смысле нравственности, которые в августе 1945 в голодной послевоенной Германии подкармливали меня в чреве матери яблоком, картофелем, морковью.

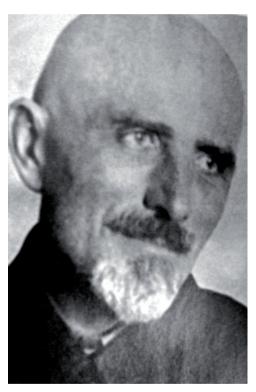
Годы спустя мама рассказала мне, что при том последнем свидании отец снял с себя крест и отдал ей его со словами: «Наденешь на моего будущего ребенка». Нательный крест отца хранится в доме как талисман. На обороте выгравированы традиционные в православии слова: «Спаси и сохрани». Уже после смерти обоих родителей в личных документах отца я нашла напечатанный на особой гербовой бумаге с водяными знаками Диплом, первая фраза которого гласит: «Предъявитель сего, Григорий Федорович Костенецкий, вероисповедания православного, сын протоиерея, состоя студентом Юридического факультета ИМПЕРАТОРСКО-ГО Московского Университета, по весьма удовлетворительном выдержании в 1912, в 1913 и в 1914 годах полукурсового испытания и по зачете определенного Уставом числа полугодий, был допущен весною 1915 года, согласно его прошению, к испытаниям в Юридической Испытательной Комиссии при ИМПЕРАТОРСКОМ Московском Университете...»

Со стороны отца мой дед был православным священником.

Дед со стороны матери — Тимофей Павлович Анисимов — был купцом второй гильдии, торговал сеном и фуражом. Дело свое в Латвии основал в конце 19-го века, перебравшись в Ригу с семьей из Тихвинской губернии. Два же его брата — Иван и Василий — стали священниками и служили в православных храмах в Санкт-Петербурге. Священнослужители, таким образом, в роду были с обеих сторон, вероятно

поэтому одна из первых книг, которую мама читала мне в раннем детстве, была Библия. Вернее, некоторые главы из Евангелия, повествующие о рождении Христа и приходе волхвов, о царе Ироде и о бегстве Иосифа и Марии с младенцем в Египет... Позднее атеистическое воспитание в школе не привело к раздвоению сознания — заложенные в первые годы жизни религиозно-нравственные основы были достаточно прочными. Косвенные доказательства этому часто встречаются в маминых письмах:

«Тяжело чрезмерно дома. Недавно у меня вырвалась мольба: «Господи, Господи, помоги!» Не заметила я, что рядом стоит Маринуська, и вдруг она, слышу, вслед мне повторяет: «Досси, Досси!» (Господи) (из письма от 29 сентября 19472)



Последняя фотография перед арестом Григория Костенецкого, отца Марины Костенецкой,

«Идем мы с Мариночкой и вдруг видим огромную очередь за мукой. С нею на руках стоять я, конечно, не в состоянии, и, представь себе — совершенно неожиданно нас пропустили с нею вперед, и мы сразу получили 3 кило муки, а в другой очереди также 1 кило сахара. Это (после погони за мною всех неудач за последнее время) так подействовало на меня, что я буквально окрыленная с нею на руках явилась домой со слезами благодарности, а она побежала к своим куклам еще в пальто и стала им радостно рас-

сказывать: «Бозитя дал нам сахалу!» (Боженька дал нам сахара!)». (Из письма от 20 апреля 1948 года).

Впрочем, в церковь мы с мамой, по вполне понятным причинам, в советское время не ходили и внешние церковные обряды напоказ не соблюдали. Тем не менее, интересно отметить, что когда через год после ареста отца между родителями, наконец, установилась переписка, в первом письме, которое отец получил в Воркуте (от 12 августа 1946 года), обо мне было сказано очень коротко и только самое главное:

«Посылали тебе две открытки и письмо в ответ на твое письмо от 14.6.46. Содержание их почти одно и то же: именно, весть о рождении Мариночки (25-го августа 1945г. Крестная – Рая; крестный Валин муж). Надеюсь, что более подробное описание обо всем ты уже получил, и теперь продолжаю…»

Нет, ни две открытки, ни самое первое мамино подробное письмо до ГУЛАГа так и не дошли, но из первого наконец-то полученного отец узнает, что его ребенок уже крещен.

Ну да, о письмах... Невероятно, но факт: за десять лет пребывания в условиях каторжных лагерей Заполярья отец не уничтожил и не потерял ни одного из дошедших до него писем из дома! Все сто девяносто четыре полученных из Риги письма рукой отца были аккуратно пронумерованы и сложены в самодельную картонную папку с художественно выполненной черной тушью надписью «Письма из дома». В 1954 году после девяти лет, проведенных в Воркуте, отец официально был признан инвалидом и вместе с другими списанными с шахты заключенными переведен из Заполярья в специальный лагерь в Вологодской области, расположенный на территории бывшего монастыря на острове посреди озера. Фактически их привезли сюда умирать, и будучи готовым к завершению земных страданий каждый божий день, в канун Нового 1955 года отец делится с мамой своей последней заветной мечтой:

«...Если удастся еще, вопреки ожиданиям, подработать, то хочу осуществить и еще одно и как будто последнее свое заветное желание — отослать вам то, что у меня есть истинно ценного — твои письма ко мне за эти 9-ть лет. Они все, от первого и до последнего, какие только дошли до меня, бережно хранятся. Я бы не хотел, так не хотел, чтобы после моего ухода из жизни кто-либо посторонний небрежно разбросал, а еще хуже — читал их. Эти письма я, прости за громкое слово, завещал моей ненаглядной дочурке, нашей Мариночке. Если у тебя сохранились хоть какие-либо из моих писем, —

очень прошу не уничтожать и тоже передать ей в день совершеннолетия. Я хочу, чтобы она хотя бы по ним познакомилась, конечно, однобоко и неполно, и со своим отцом, и с его отношением к ее матери и к ней самой». (Из письма от 31 декабря 1954 года).

А спустя всего 20 дней, то есть 20 января 1955 года, на посылочном бланке, адресованном уже на мое имя, отец написал:

«Дорогой мой Маринок! Наконец-то получил возможность отправить посылочку, о какой писал раньше. Береги, родная, посылаемое, это частица души Татуся. Прости, что ничего не могу послать вкусненького. Только вчера получил возможность чуточку вздохнуть с деньгами, а то весь месяц не было ни одного гроша. Свой маленький должок вчера уплатил, а сегодня исполняю свой долг перед самим собой. Скучаю по письмам. Жду их, жду, жду! Твой Татусь».

И новые письма в лагерь к отцу будут идти из Риги еще почти целый год. А посылказавещание с заученными за девять лет наизусть письмами из дома вернется в Ригу. Через девять лет, в день моего совершеннолетия, мама отдаст эту папку мне. Подарит мне мама в этот день и сохранившиеся письма отца. Увы, их удалось сберечь не все — папиных писем осталось всего сто девять. В основном они приходятся на последние годы пребывания отца в ГУЛАГе, то есть начало пятидесятых годов прошлого века.

Могла ли я тогда, в день своего восемнадцатилетия, понять какое бесценное наследство в самодельной папке оставил мне отец? Нет, конечно. Слишком многое в истории страны в целом и нашей семьи в частности было еще покрыто туманом замалчивания, в лучшем случае — полуправды. Хотя в начале 60-х годов прошлого века советские люди у себя на кухнях уже обсуждали и осуждали преступления сталинизма, все же до объективной оценки масштабов национальной трагедии на государственном уровне дело не дошло. Хрущевская оттепель с ее историческим XX Съездом КПСС, на котором была предпринята попытка разоблачения культа Сталина, сменилась ледниковым периодом застоя Брежневской эпохи. Будучи подростком, которого в школе травили за неправильное происхождение, я не могла понять, в чем здесь кроется моя личная вина. То, как я с младенчества любила отца, как тосковала по нему, как безумно ждала встречи с ним — в школе не знали. Зато знали, что он враг народа. И что я дочь врага народа. Я же стеснялась лагерной одежды отца, в которой впервые увидела его на перроне рижского вокзала 31 октября 1955 года. В этой одежде он вынужден был ходить долгие месяцы, так как не

мог устроиться после ГУЛАГа даже на самую низкооплачиваемую работу. Маме прокормить, и обуть, и одеть нас троих было не по силам. Профессиональный концертмейстер по классу рояля, на тот момент она занимала скромную должность музыкального работника в детском саду и одновременно давала частные уроки музыки в состоятельных семьях. Уходила мама из дома, когда я еще спала, возвращалась с последнего урока, когда я опять уже спала. Жили мы в коммунальной квартире, где вернувшийся из лагеря отец не мог прописаться, и откуда вынужден был уходить ночевать по чужим углам. Кроватное место за чертой города оплачивала опять-таки мама. Понять, почему отец одет не как все, и почему он не может оставаться дома на ночь, я в свои десять лет не могла. И когда в восемнадцать начала читать первые письма — шок открытия оказался слишком страшным. Прочесть все у меня тогда не хватило духа.

Понадобилось прожить целую жизнь, прочесть тома Солженицына, книги Шаламова и Гинзбург, множество других документально-исторических источников, чтобы уже на пенсии, отойдя от политики и суеты будней, положить перед собой заветную папку и бережно вынуть из конвертов все письма — от первого до последнего. Это произошло в моей жизни в 2009 году.

Впрочем, к переписке родителей за эти годы я обращалась не раз. Написала даже документальную повесть «Письма». На латышском языке она была опубликована в 1990 году в первом томе серии исторических книг «Via dolorosa», куда вошли воспоминания репрессированных сталинским режимом латвийцев и их семей. (На русском языке повесть напечатана в моей книге «Дешево продается клоун» в 2008 году. Издательство «Тапалс». Рига. — М. К.) Это было время Атмоды — песенной революции в Латвии. На волне горбачевской перестройки и гласности латыши начинали говорить о том, что десятилетиями замалчивалось в школьных учебниках истории. Мне, как русскому писателю, было очень важно тогда напомнить, что жертвами сталинизма в Латвии (не говоря уже обо всем СССР!) стали не только латыши. Повесть «Письма», в которую вошли некоторые фрагменты гулаговской переписки моих родителей, стала документальным подтверждением этому. Но, работая над повестью, я использовала тексты, которые были увековечены не в самих письмах, а в своеобразных дневниках отца, которые он умудрялся вести в последние годы своего пребывания в ГУЛАГе. Эти дневники представляют собой сшитые из разнокалиберных листов бумаги тетради. На обложках одних написано: «Портрет Мариночки по письмам матери», других — «Копии моих писем домой». Дневники вместе с письмами, согласно завещанию отца, я получила в день своего совершеннолетия, и их время от времени перечитывала в течение всей последующей жизни. Для того, чтобы понять, что же именно произошло в нашей семье после войны, хватило и этих дневников. То, что я узнала, прочтя все письма, потрясло неизвестными ранее деталями, но открытием для меня не стало. Подтвердилось только то, что было предельно ясно уже из тетрадей: чудовищем, исповедующим идеи нацизма, отец никогда не был. Он не просто любил людей, но и был предельно честным человеком. Именно честность и внутренняя порядочность не позволили ему использовать шанс для собственного спасения ценой предательских показаний на допросах. Что же касается чувства долга отца перед семьей, то достаточно сказать, что все то немногое, что ему удавалось заработать в ГУЛАГе, он тут же отсылал нам с мамой в Ригу, хотя в зоне на эти деньги мог купить себе в дополнение к лагерной пайке продукты питания первой необходимости.

В конце жизни отец сумел простить всех, про кого в одном из писем, адресованных в мое детство, сказал: «Когда-нибудь мама расскажет тебе, как я любил тебя, еще не зная, кто ты будешь — девочка или мальчик. Как носил тебя мысленно на руках, как пел тебе колыбельные песни. Как все это у меня отняли. Злые люди отняли».

* * *

Итак, я родилась через пять дней после возвращения мамы в Ригу из разбомбленной Германии. Произошло это событие в квартире маминой сестры, а точнее в бывшем доходном доме моего деда, купца Тимофея Павловича Анисимова. Многоквартирный каменный дом на два подъезда с отдельным входом в сенную лавку и просторными складскими помещениями во дворе дед построил в начале XX века на улице Большая Молочная, 16. После всех перипетий первой половины столетия ордер на квартиру под номером 20 в бывшем доме своего отца получила мамина сестра, тетя Рая. К моменту маминого приезда в двухкомнатной квартире она проживала с пятилетним сынишкой. Сашин отец, спустя десятилетия обнаружившийся в Америке, в то время считался пропавшим без вести. Поскольку по советским законам семье грозило уплотнение, то есть подселение на излишки жилплощади чужих людей, мамин приезд оказался обоюдно выгодным для обеих сестер: мама попадала в родственную среду, для

тети же отпадала угроза насильственного уплотнения, а заодно решалась и проблема няни для Саши. После моего рождения мама взяла на себя все обязанности по хозяйству и стала заниматься обоими детьми. Но очень скоро над нами нависла зловещая тень клейма семья врага народа, и отношения с ответственной квартиросъемщицей стали портиться. Наше с мамой



Марина Костенецкая в Латвийском обществе русской культуры в 2009 г.

дальнейшее пребывание в доме родственников становилось для них небезопасным, а найти в послевоенной Риге комнату женщине с грудным ребенком было практически невозможно. Мы были вынуждены оставаться в квартире тети Раи на птичьих правах. Кроме Раи в Риге жили еще две мамины сестры — Валя и Аня. Обеим я благодарна за посильное внимание к нам с мамой, но и они в отношениях с нашей семьей соблюдали благоразумную дистанцию, и в конфликтах с Раей, как правило, становились на ее сторону. Говорят, что понять — значит простить. Сегодня я уже все понимаю. Ну, а тогда, через несколько месяцев после моего рождения Саша пошел в детский сад, меня же в ясли еще не брали, и изза этого мама не могла начать работать. Жили на продажу от вещей, которые носила на барахолку давнишняя мамина добрая знакомая. Когда спрос на вещи упал, наступил голод...

Эту историю мне, уже взрослой, мама рассказывала много раз как чудесную сказку. Помимо того, что в первые годы моей жизни каждый день был заполнен мучительной борьбой за выживание в смысле элементарного пропитания, сплошным кошмаром для мамы оставались и ночи. Звук проезжающей под окнами машины заставлял ее вскакивать с постели в холодном поту. Что, если машина сейчас остановится, на лестнице раздадутся шаги, потом стук в дверь?.. К аресту и разлуке со своим поздним ребенком

жена *врага народа* была готова постоянно. Меня же в этом случае ждал специальный детский дом для детей *врагов народа*.

И вот однажды рано утро м (на улице было еще темно) это случилось. Под нашими окнами затормозила грузовая машина, хлопнула дверца кабины. На лестнице раздались шаги, потом стук в дверь. Мама выхватила меня из кроватки, прижала сонную к груди, услышала, как тетка в коридоре спрашивает сквозь закрытую дверь «Кто там?» и как мужской голос отвечает ей вопросом: «Здесь живут Костенецкие?»

Как мама оказалась в коридоре, она не помнила. Увидела только уже распахнутую на лестничную клетку дверь и на пороге мужчину в штатской одежде. «Я вам привез привет от мужа, — спокойно сказал мужчина. — Не закрывайте дверь, я сейчас вернусь».

Потом он несколько раз спускался к своей машине и возвращался на третий этаж с мешками. Мешок картошки, мешок капусты, брюква, морковь, несколько килограммов муки, крупа, масло, что-то еще и еще... Это были первые алименты мне от отца из ГУЛАГа. Шел 1946 год. Страна жила продуктовыми карточками. О голоде же, царившем в те годы в лагерях, мы знаем теперь достаточно хорошо из документальных свидетельств выживших там узников.

Когда Август Пертус (так звали незнакомого мужчину) поднялся с последней ношей, он прошел в комнату и рассказал маме все по порядку. Выяснилось, что мой отец отбывает в Воркуте наказание вместе с шурином Августа — Янисом Клявиньшем, у которого в Латвии осталась жена Мильда с четырьмя детьми. Живет Мильда Клявиня на хуторе «Стамери» в Алуксненской волости Валкского уезда. У нее хозяйство, братья помогают обрабатывать восемь гектаров земли. Григорий Костенецкий, как юрист, оказал в лагере Янису существенную услугу — написал в какую-то государственную инстанцию прошение, в результате чего приговор Клявиньшу был пересмотрен в лучшую для него сторону. Вознаграждение заключенный Костенецкий через родственников Яниса просил целиком передать своей жене, Екатерине Тимофеевне Костенецкой, проживающей с дочкой по адресу: Рига, Большая Молочная — 16, квартира 20.

Дружба с Августом Пертусом длилась потом долгие годы. Сам он с женой и тещей жил на окраине Риги в частном доме с фруктовым садом, и я помню наши с мамой поездки на трамвае в этот сад, когда там созревали яблоки. Ну, а первая встреча с родственником папиного лагерного товарища так и осталась для нас на всю

жизнь явлением ангела во плоти. Мама называла это выявлением Высшей Любви и всякий раз, вспоминая пережитое, свой рассказ заканчивала словами: «Накануне вечером в доме не было буквально ничего, чем тебя покормить. Ты долго кричала от голода и, наконец, уснула, всхлипывая во сне. А когда Август все это принес, у меня подкосились ноги, и не было сил сразу подняться, чтобы приготовить тебе еду. Я просто сидела и плакала. Плакала и благодарила Бога».

В течение всех десяти лет от отца приходили денежные переводы. Конечно, нерегулярно. Конечно, нечасто. Да и суммы были отнюдь не астрономические. Но это были практически все деньги, которые ему удавалось заработать в ГУЛАГе как юристу, оказывавшему помощь своим соседям по нарам. Иногда переводы приходили от родственников тех, кому удавалось помочь, иногда напрямую из Воркуты. В последнем случае отец сильно рисковал, ибо это считалось грубым нарушением режима. После смерти Сталина в содержании заключенных наметились существенные послабления, и, будучи переведен из Воркуты в лагерь для инвалидов на остров «Пятачок», отец писал:

«Около 12 ч. дня 31 декабря 1954 г. «Пятачок»

Мои родные, любимые!

Сегодня канун Нового года. В душе еще живет память о былых традициях и тянет как-то отметить этот день. Но, увы, в здешних условиях этого не сделаешь, даже 12 часов ночи не проследишь, так как поблизости нет часов, а потому и не смогу в этот традиционный момент хотя бы мысленно поздравить вас, моих таких дорогих...

Все у меня постепенно налаживается. Прошел врачебную комиссию, установили категорию остаточной инвалидности, то есть на медицинском языке — инвалидности, допускающей еще кой-какое ограниченное трудоиспользование. Зачислили в соответствующую бригаду, но пока ни на какие работы не посылают, так как вообще вся наша жизнь находится еще в процессе организационного периода. Что придется делать в будущем, не знаю, а пока эти дни был занят оказанием юридической помощи. Это были, очевидно, уже последние, как говорится, вздохи работы в этой области, да и то для меня совершенно неожиданные, так как при наличном контингенте — инвалиды — едва ли будут у меня платные клиенты. Но на сегодняшний день мне и здесь повезло, и вчера я отправил вам рождественский свой подарок, о задержке какого горевал в прошлом письме. Я так рад, так рад, что все-все вышло хорошо. Совершенно неожиданно, вопреки всем ожиданиям, здесь открылась возможность совершенно беспрепятственно посылать деньги и даже посылки. Я вчера сдал свои деньги 450 рублей, и вчера же получил уж и квитанцию (деньги сдавал через цензора)...

Я послал все, что у меня было, буквально до последнего рубля (даже занял 4 рубля, не хватавшие на оплату перевода) и так рад, что как раз набрал такую сумму — поровну тебе и дочурке. Это, я думаю, последняя моя возможность материальной помощи или, вернее, внимания к вам, моим дорогим...

(...) Я долгие месяцы ломал голову, как переслать мне эту свою духовную святыню (речь идет об упоминавшейся выше посылке с письмами из дома. М.К.), и, представь, абсолютно неожиданно позавчера узнал, что сделать это можно и совершенно законно, то есть опять же через администрацию лагеря, как и с деньгами (раньше деньги я посылал или после тяжелых и неприятных для меня мытарств-хлопот перед начальством, или нелегальным путем, уплачивая и % комиссионных, и волнуясь каждый раз, чтобы не было неприятностей). Словом, все, все хорошо, все, все чудесно гармонично...

Ты не вздумай, Катрусенька, огорчаться таким моим как бы минорным (завещательным) настроением. Я сейчас чувствую себя неплохо, но ведь все, как говорили в старину, ходим под Богом, годы мои немалые, ведь 12-го февраля мне исполнится уже 63 года, пережитое, естественно, наложило свой отпечаток на сердце, и я готов всегда ко всему, а при своей аккуратности и здесь хочу, по возможности, сделать все, что меня беспокоит как неустроенное. Но, повторяю вновь, чувствую себя сейчас, отдохнув после дороги, ну, совсем хорошо, бодр...

В данный момент меня поместили на втором этаже в здании монастырского храма. Спим на двойных, то есть в два ряда, двухэтажных деревянных койках. Мое место у окна, внизу, чему я очень рад. Матрац набит соломой, одеяло, конечно, бумажное, но я его выстирал (давал в прачечную) и сегодня подшил приобретенной мною широкой простыней, то есть пододеяльником. Спать удобно, и это меня так радует. Я охотно вечером ложусь спозаранку и люблю в это время унестись мыслями домой. Вот только все этот неладный кашель — и сам не сплю, и другим мешаю, что мне крайне неприятно. Иногда немного бывает душно (ведь до двухсот человек в одном помещении), но в общем ничего.

...Вначале кормили, откровенно говоря, прямо-таки скверно. Сейчас как будто налажи-

вается и этот вопрос. Вчера наша рыболовецкая артель впервые выходила на рыбную ловлю подо льдом озера. Принесли много рыбы, но мелкая — плотва, окунь, щучки. Хлеб выпекают в лагере, качество вполне приличное. Я запасся в ларьке каким-то жиром, по виду и отчасти даже по вкусу напоминающим смалец (внутреннее свиное сало), только что-то очень дешевое — 15 рублей 60 копеек килограмм. Его у меня и сейчас еще больше килограмма. Вообще питания мне вполне хватает, а при желании можно и прикупить то или иное в ларьке, были бы только деньги».

Читая сегодня лагерную переписку родителей, я не перестаю поражаться тому духовному свету, которым письма обоих пронизаны обоюдно насквозь. Все хорошо в этом лучшем из миров! «Иногда немного бывает душно (ведь до двухсот человек в одном помещении!), но в общем ничего». Это информация от отца из обнесенного колючей проволокой монастырского храма, наспех переоборудованного под лагерный барак. А вот что, в свою очередь, пишет ему мама, пианистка, проведшая первую половину жизни в основном за роялем, а отнюдь не у плиты:

«Я сделала некоторые успехи в ведении домашнего хозяйства. В частности, в кулинарии. Между прочим, мяса я не покупаю. Для нас – дорого! Но попробовала раз купить коровью ногу. Опалила ее, сняла кожу, разрубила и сварила такой бульон, что убедилась, что это и выгоднее и лучше мяса. Цена этой ноги была — 10 рублей. В ней было два кило костей. А бульон я варила шесть раз, причем все еще был жирный-прежирный. И только раз из-за того, что кончился керосин, и не на чем было сварить, кости пришлось отдать собаке. В эту субботу куплю опять ногу». (Письмо от 5 сентября 1947 года).

Или еще такая вот радостная весточка из Риги: «В эту субботу я не купила керосину из экономии, так как иначе не хватило бы денег на хлеб, и не знала, на чем буду варить обед. Представь себе, идем мы с Мариночкой из яслей, видим, мчится по дороге автомобиль с дровами, с которого падает доска. Автомобиль проехал. Я вышла на дорогу, подняла доску. И ее хватило мне как раз на приготовление обеда и ужина. Так радостно было, что выход нашелся. Особенная радость была...» (Письмо от 19 августа 1947 года).

Само собой разумеется, опубликовать полностью все имеющиеся у меня письма я не могу. В них много интимного, касающегося отношений только двух любящих людей. Эти тексты изначально не были предназначены для ши-

рокой огласки, не зря же отец писал, отправляя посылку с мамиными письмами домой: «Я бы не хотел, так не хотел, чтобы после моего ухода из жизни кто-либо посторонний небрежно разбросал, а еще хуже — читал их». Все же ту часть переписки, которая, полагаю, представляет собой определенную ценность для историков как документальное свидетельство времени, я буду цитировать в своем повествовании и далее. Тем более, что и сами мои родители постоянно вынуждены были считаться с посторонним читателем в лице лагерного цензора, о чем они друг другу пишут совершенно открыто и не один раз. Кстати, на некоторых маминых письмах, полученных отцом в Воркуте, прямо поверх строчек текста стоит шестиугольный лиловый штамп «№ 20». То есть в Управлении Воркутлага на $O\Lambda\Pi$ e-17 ($O\Lambda\Pi$ — особое лагерное подразделение в терминологии ГУЛАГа) переписку отца контролировал цензор № 20.

Когда в 1954 году после смерти Сталина начались массовые освобождения из лагерей, и отец сообщил нам о возможности реальной встречи, а потом эти надежды рухнули, как карточный домик, мама на какое-то время была настолько выбита из колеи, что не могла ему писать. Измученный самыми мрачными предположениями, допуская мысль, что его в семье уже не ждут, отец пишет в Ригу:

«Утро субботы 25-IX-54г. Воркута Мои дорогие, родные!

Хоть и нет больше писем от вас (последнее было от 9-IX), но хочется воспользоваться правом неограниченной переписки и напомнить вам о себе. Как вопрос с возможностью нашей встречи? Увы, мои хорошие, абсолютно в том же положении беспросветной неизвестности. Хуже того, неизвестности о каких-то возможных задержках и прочих неприятностях. Досужие языки связывают это с внешнеполитическими событиями, напряженностью международной обстановки. Но где корень зла — не знаю, зато знаю, что мечты о скорой встрече окутываются туманом. Тяжело мне об этом говорить вам, любимые, особенно тяжело, что вначале так наивно безрассудно доверился официальным обещаниям и заверениями взбудоражил неосторожно вас, особенно Мариночку, еще не отдающей себе отчета в сложности жизни. Но говоря так, я все же оговариваюсь, что оснований для полного пессимизма нет, именно лишь задержка, непредвиденная, а потому и особенно тягостная задержка и, верю, со временем она будет преодолена, и хоть не так скоро, как мечталось, но все же нагряну к вам и уж тогда вознагражу себя

за все невзгоды сегодняшнего и минувших дней, с предельной жадностью буду ненасытно пить счастье семьи, любви, ласки близких. Ох, если бы порассказать вам о своих ночных мечтах, о картинах этого будущего! Но настанет, настанет это будущее, расскажу, расскажу бездну ласкового, приветного... А вы? Вы чем встретите меня? Ответной лаской? Теплом? Сердечностью?

Хочется думать, что так, так будет, ибо чем же объяснить как не желанием побольше накопить этих чувств в запас твои редкие, Катюшок, письма и полное отсутствие их от Мариночки. Я думаю, что детуня не иначе как складывает все свои чувства добрые в мешок Санта Клауса, чтобы потом ошеломить меня его обилием. Ну что ж, посмотрим. Только этим я утешаю себя, не имея дорогих весточек. Ты, Катюшенька, вероятно, несколько недовольно ответишь на мое замечание о недостаточности писем от тебя словами — ну, о чем мне писать ему, ведь все, по существу, без перемен, значит, повторять одно и то же! Родненькая, славная, хорошая... позволь напомнить — вот об этом-то всем старом, повторяющемся я то и не знаю. Ну, вспомни, любимая, хотя бы тот факт, что я, твой муж, и до сих пор не знаю, где же и кем именно ты работаешь, в каких условиях, окружении? Есть ли сейчас уроки музыки, языков? Каковы конкретно условия бытовой материальной жизни (хотя и догадываюсь, что нелегкие)? Э, да что там говорить, ведь ты просто забыла, что последние 5-ть лет ты все больше и больше последовательно и неуклонно замыкалась, уходила от меня. Много-много тяжелых и, подчас, обидно тяжелых мыслей и чувств породило твое такое отношение. Быть может, ты сошлешься на то, что я мало писал о своей личной жизни, вплоть до внутренних переживаний.

Ты права. Но вспомни, в каком я был, да и сейчас еще нахожусь положении контролируемого во всем. Представь, что ты сидишь и пишешь письмо к человеку, который тебе бесконечно близок, глубочайше интимно близок, а за спиной стоит совершенно чужой человек, да еще по существу и духовно даже, не говоря о внешних отношениях, чуждый, более того, враждебный тебе, и читает то, что ты пишешь или собираешься писать. Это цензор лагеря. Сейчас мне легче писать, так как цензор на новом месте меня персонально, по крайней мере, физически не знает, как не знаю его и я, но прежде, примерно с 1948 года, когда цензуру перенесли из центра (Управления Воркутлага) непосредственно в лагерь — это было не так, далеко не так. А к тому еще прибавь вообще страх, что то или иное твое слово, выражение не так будет истолковано представителями лагерной администрации, и для тебя (то есть меня) могут возникнуть тяжелые или даже очень тяжелые последствия... Да что, моя родненькая, говорить, вы там вообще слишком далеки от того, что приходилось переживать здесь. Только примерно с середины 1953 года появилась какая-то моральная отдушина, стал чувствовать себя хоть немножко живым человеком, хотя еще и парализованным. Но не хочу останавливаться на прошлом. Твое сердечное письмо от 3-IX помогло мне найти свою прежнюю Катюшу, какая так в свое время — 1946 и последующие ближайшие два-три года поддержала меня духовно, мало того, способствовала несомненно и моему физическому исцелению, ибо без тогдашней нравственной поддержки из дому, без вестей о тебе, о дочурке, я, надо полагать, не смог бы побороть своих телесных недугов, каких было много и достаточно тяжких. Не даром врачи одно время расценивали меня как кандидата «под мох» (пойти «под мох» — значит, быть похороненным в тундре).

Но теперь все в прошлом, в прошлом. Сейчас я бодр, полон веры в то, что еще увижу вас, таких для меня ну, совершенно, необъятно дорогих и любимых, что испытаю предельную радость уюта, семьи, семейного очага... Не омрачайте же этой радости моих надежд, моей такой лучезарно хорошей мечты, не забывайте меня, пишите, ну, как только сможете, поподробнее о себе и все-все. Меня не интересует в ваших письмах чужая внешняя жизнь окружающих, мне нужны вы, вы, мои, чувствуете ли, такие незаменимо дорогие, любимые жена и дочурка, дочурка! Каждое слово от вас, даже повторное — так много говорит мне, так ценно, так желанно! Пишите же, пока я еще вдали от вас физически, пока наши мечты встречи и физической близости не осуществлены Великой Λ юбовью жизни. Хотя это, верю, знаю, и будет скоро. Целую, целую без конца. Ваш Гриша и Татусь».

Да, конечно, отцу, только что пережившему очередное крушение надежды на скорую встречу с нами, трудно понять, в каких условиях живет в Риге семья врага народа, и почему мама не может писать об этом подробно в лагерь. Что же касается меня, то я еще слишком мала для полноценного приобщения к эпистолярному жанру (в основном посылаю отцу рисунки), а вот свои добрые чувства действительно «складываю в мешок Санта Клауса», и время от времени мама в этот мешок заглядывает и по секрету сообщает о его содержимом в ГУЛАГ.

«Рига, 9 сентября 1954 г. (по почтовому штемпелю)

Дорогой Гришик!

Отвечаю тебе на твое письмо от 25/VIII. Ты, вероятно, уже получил мое письмо от 3/IX и знаешь, почему так долго не отвечали тебе на 4 письма. В день рождения Мариночки, ты пишешь, что испытывал «предельную душевную напряженность». С утра и нам было очень тяжело, но когда мы стали завтракать, и Татусь (портрет отца. М.К.) был у нас среди цветов белого флокса, и когда Мариша просияла от радости, что нам удалось и в этом году в этот день прилично приготовить стол, она почувствовала себя действительно «виновницей торжества», и минорное настроение и слезы, что Татусь не едет, изгладились (...) Мариша каждый день тщательно приводит в порядок комнату, чтобы в приезд Татуся все было в полном порядке. Не расстраивайся, Гришик, не надо, будь терпелив и смирись, — в этом твоя сила. Если бы тебе подробно рассказать, как подбадривает меня Мариша, то ты, вероятно, заплакал бы от радости, что у нее столько сердечной теплоты. Иногда задает вопрос: «А вдруг я буду стесняться Татуся? Я даже не знаю, не представляю, как все будет! А вдруг он приедет, а нас не будет дома, как же тогда?! Напиши ему точно адрес и трамвай № 4 до конца». В этом году на день рождения от Татуся подарила ей маленький синий портфель. Он ей так понравился, что она с ним по целым дням не расставалась. От меня она получила сандалии. Осень настолько теплая, что лучше, чем лето — поэтому купила сандалии вместо ботинок (которые дороже значительно), а потому пока будет ходить в сандалиях. Раз за столом она мне и заявляет: «Мамочка, ты не обижайся на меня, пожалуйста, что подарок татуся мне больше нравится...» Целует портфель и говорит: «Я его люблю больше моего будущего жениха!» Ну, разве можно без смеха слушать ее? Она всегда так непосредственно рассуждает и этим напоминает мне Татуся. Раз я ей сказала: «У тебя ноги такие же длинные как у татуся, и походка такая же». И как-то на заданный ей вопрос — на кого она похожа, на папу или на маму? — она вдруг отвечает: «На папу! У меня такие же, как у него, длинные ноги и такая же походка!»

А спустя год мучительного ожидания, всего за два с половиной месяца до реальной встречи, верить в которую с каждым днем становится все труднее, мама пишет отцу:

«Рига. 13 августа 55 г. Дорогой Гришик!

Получила твой письма и от 1-го июля, и 31-го июля, и 4-го августа. Спасибо! Последние

два были оптимистичнее первого (в котором ты опять пишешь такие слова: «Думал, уже конец» и т.д.), а в последующих опять настроение светлее, несмотря на то, что приезд твой домой опять отсрочен. Ты пишешь, что я «нервно жду», да, пожалуй, ты и прав, если имеешь в виду мое отношение в данном вопросе к Марише. Она много думает, взвешивает, ища ответа о Татусе и вместе с тем очень тактична — боится этими вопросами огорчить Нану и заставить ее опять «переживать» тяжелое. Когда ее как-то спросили о Татусе (мне потом рассказывали), она просила: «Только не спрашивайте у мамы, а то она очень переживает». Сказать ей, как ты советуешь, все, как есть, пока еще не нахожу необходимым, т.к. думаю это сознание ей будет тяжело в школе, среди сверстников, да и вообще еще не для ее возраста».

Повторяю, полностью все письма публиковать не могу, чтобы не оскорбить память родителей, выставляя на всеобщее обозрение их интимные переживания. Но что касается быта, в котором в Риге обитает семья врага народа и переживаний лично моих, связанных с отсутствием в семье отца, то хотя бы частично, пунктирно позволю себе здесь процитировать письма в хронологическом порядке, начиная с 1946 года.

* * *

В итоге фрагменты писем вместе с моими комментариями и размышлениями, фотографиями и факсимильным воспроизведением документов составили книгу на триста с лишним страниц, которая так и называется — «Письма из дома». Само собой разумеется, опубликовать все это в альманахе невозможно, поэтому к приведенному выше тексту начала книги добавляю еще только самые последние ее страницы.

~ ~ ~

В возникшем же заново на карте Европы небольшом государстве начались тем временем большие перемены: разделение населения на граждан и неграждан, бурные процессы денационализации и приватизации... Поскольку я не считала и не считаю, что за заслуги перед Латвийской Республикой бывшим депутатам полагаются заводы, дома, пароходы, а также министерские или какое-либо подобные кресла – сразу же после возвращения из Москвы мне пришлось совершить жесткую посадку на обочине жизни. В статусе безработного. К счастью, у меня еще был тогда хутор, купленный в свое время на гонорары от книг, и впридачу к это-

му хутору два гектара земли. То, что земля кормит, я знала в теории. Весной 1992 года начала осваивать эту науку на практике. Наставником, другом и ангелом-хранителем в этот период жизни стала для меня простая латышская женщина Лидия Дуршиц. Царствие ей небесное! По профессии хлебопекарь, по происхождению из крестьян, по судьбе — чудом оставшаяся в живых девочка из деревни Аудрини, которая 2 и 4 января 1942 года была дотла сожжена фашистами, а 200 ее жителей зверски расстреляны. В моем писательском архиве хранится записка от Лидии, написанная в те дни, когда русские газеты советской Латвии разоблачали мое фашистское происхождение. Вот ее полный текст:

«Уважаемая Марина Григорьевна! Дорогой Вы мой человек! Вам очень трудно, но жить надо! А главное верить, очень, очень верить, что Ваши отец и мама были честные люди!

P.S. Ja Jūs 25.03 uz kapiem iesiet viena, ļoti gribētu Jūs pavadīt. Ja drīkst, lūdzu no rīta piezvaniet

Ar cienu Jūsu Lida 24.03.89.»

Символично, что записка написана на двух языках. В постскриптуме по-латышски сказано: «Если Вы 25.03 на кладбище пойдете одна, я очень хотела бы Вас сопровождать. Если это можно, пожалуйста, позвоните с утра. С уважением Ваша Лида 24.03.89». Тут требуется некоторое пояснение в датах. Порочащая информация прокуратуры об отце в газетах появляется 23 марта. Записку Лида пишет 24-го, а 25-го латыши отмечают день памяти депортированных в 1949 году в Сибирь соотечественников, и родственники зажигают на кладбищах поминальные свечи. На следующий же день, 26-го марта 1989 года, в Латвии проходят выборы народных депутатов СССР. Эти три дня мне надо было прожить и выжить. Выжившая в Аудринях в 1942 году Лидия Дуршиц помогла мне в 1989 выжить в Риге.

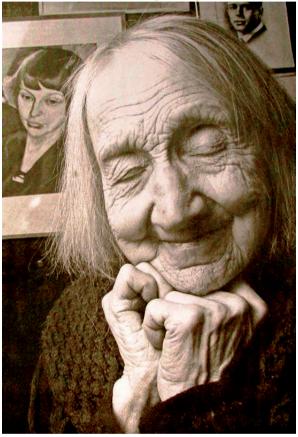
Так вот, та же самая Лида оказалась в моем доме и весной 1992 года, когда последние сбережения от кремлевской зарплаты уже иссякли, а работу найти все так и не удавалось. В кухонном стенном шкафу мы с Лидой обнаружили банки со стратегическими запасами засахарившегося варенья, которое в последний год жизни наварила мама. Она умерла на моих руках осенью 1987-го, я в ту же зиму с головой ушла в политику, потом уехала в Москву — пять лет варенье потреблять было некому. И вот стоя перед пыльными банками, Лида торжественно изрекла: «Да это же валюта!». Я, конечно, ничего не поняла, а Лида попросила отдать ей все засахарившееся варенье, увезла банки к себе

и через какое-то время сообщила, что столькото бутылок чистого, как слеза, самогона готовы для того, чтобы расплатиться у меня на хуторе с трактористом. Мы распашем луг перед домом, посадим картошку, вскопаем грядки... Ну что ж, раньше на этот луг приходили косули, и я умилялась красоте дикой природы. А теперь надо было выживать, и под руководством мудрой латышской крестьянки я построила полиэтиленовую теплицу, приобрела семена моркови, огурцов, свеклы. Вокруг огорода тракторист за дополнительную плату построил забор из жердей, но для лесных кабанов это оказалось не помехой: картофельное поле мы обрабатывали сообща — весной я картошку посадила, осенью кабаны ее выкопали. Все же что-то от урожая досталось и мне. На самый трудный переходный год хватило.

Когда Λ ида умерла, выяснилось, что у нее нет ни родственников, ни семейных могил. Я похоронила ее на нашем семейном участке рижского Λ есного кладбища рядом со своим отцом.

* * *

И еще об одном человеке, который помог мне выжить в дни осквернения памяти отца, я хочу рассказать на последних страницах книги. История почти мистическая, но, тем не менее, это действительно была Анастасия Ивановна Цветаева, сестра поэта Марины Цветаевой. Дело в том, что когда в конце семидесятых годов я работала заведующей отделом прозы литературного журнала «Даугава», судьба свела меня с Анастасией Ивановной, которая в то время безуспешно пыталась пробить в печать второй том своих «Воспоминаний». Поскольку в книге упоминались такие запрещенные в СССР поэты, как Осип Мандельштам, Максимилиан Волошин и множество других имен и нелицеприятных для советской власти исторических фактов, рукопись боялись принимать и в издательстве, и в центральных журналах. Периферийная «Даугава» могла позволить себе немного больше — нам удалось напечатать отрывки из книги именно с эпизодами об опальных поэтах, и эта рижская публикация зажгла для книги зеленый свет в Москве. Так завязалось знакомство с Анастасией Цветаевой. Потом, бывая в Москве, я нередко оставалась в ее доме ночевать, поскольку чтение других рукописей и архивов (а Анастасия Ивановна настаивала на том, чтобы я их читала и комментировала) требовало времени. Когда я говорила, что мне пора в гостиницу, что уже поздно, что скоро закроют метро, девяностолетняя Анастасия Ивановна обезоруживающе категорично отвечала: «У нас очень мало времени. Я откланиваюсь, я ухожу. Вы будете ночевать у меня». Несколько лет я состояла в переписке с этим феноменальным человеком, но почти в каждом письме Анастасия Ивановна жаловалась на катастрофическую потерю зрения — «растет катаракта». Прекрасно понимая, сколько и чего сестра Марины Цветаевой



Анастасия Цветаева

должна успеть еще написать для истории, а не в личных письмах для меня одной, я сознательно свела переписку на нет. И вот через несколько лет, а именно — в последние дни марта 1989 года — меня в Риге вдруг разыскал человек, который привез привет от Анастасии Ивановны. Нарочный передал от Цветаевой пакет с книгой и коротенькой запиской:

«Мариночка, мой любимый человек! <u>Неестественно</u>, что мы не в переписке! Отзовитесь! Я буду <u>очень</u> рада получить от Вас весточку! Я чувствую с Вами — какую-то кровную связь! Шлю Вам свою недавно вышедшую книжку и жду на нее отклика. Храни Вас Бог! Обнимаю.

Ваша А. Цветаева на 95-м году.

Анастасия Ивановна Цветаева умерла 5 сентября 1993 года, всего год не дожив до своего столетия.

Очищающей молитвой прощения звучат для меня сегодня стихи ее сестры Марины Цветаевой, написанные 3 октября 1915 года:

Я знаю правду! Все прочие правды — прочь! Не надо людям с людьми на земле бороться! Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. О чем — поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется, уж земля в росе, Уж скоро звездная в небе застынет вьюга, И под землею скоро уснем мы все, Кто на земле не давал уснуть друг другу.

Верю, что когда-нибудь и русские, и латыши поймут и примут правду Марины Цветаевой. И тогда манипулировать нами будет невозможно.